

Сигизмунд Кржижановский

## Две новеллы

---

*Вступление и публикация Вадима Перельмутера*

Среди “киевских бумаг” Сигизмунда Кржижановского, о внезапной находке которых было рассказано при публикации новеллы “Красный снег (“Октябрь”, 2006, № 1), я рассчитывал обнаружить как минимум еще одно сочинение, судьба коего давно меня интересовала.

В записях-набросках середины двадцатых годов – строка: “Попугай-путешественник: сквозь всю страну” (Вторая Записная Тетрадь).

Несколько лет спустя, уже в тридцатых, экзотическая птица появляется снова: “Почему попугай вытаскивает билетики счастья: потому что ему и счастье в лапы, потому что попугай – это оперенный повтор” (Третья Тетрадь).

Еще позже, в тридцать седьмом, написана миниатюра “Последний из атуров”, включенная в цикл “Мал мала меньше”. Полстранички.

“Это не вымысел. Зачем выдумывать такое?”

Александр Гумбольдт точно сообщает, что стена гор Восточных Кордильер в конце XVIII века рухнула. Грохот ее падения слышало несколько деревень. И только.

Племя атуров, жившее за этой стеной, перестало общаться с миром. Их, атуров, никто не посещал, кроме чумы, которая переползла через горы и уничтожила всех до последнего. Кроме старого, с сединой в сине-зеленых перьях попугая. Племя атуров умерло и перестало говорить, а попугай в берестяной клетке все еще продолжал выкрикивать: “Утур-р-атур-дзен-дзео-дзин!”

Попугая кормили мошки и мухи, залетающие в его берестяную клетку. Через год после гибели племени атуров по проложенной заново тропе спустился исследователь этих стран. Он нашел пустые дома, потухшие очаги и попугая, который кричал в своей клетке: “Утур-р-атур-дзен-дзео-дзин!”

Это было последнее, что осталось от погибшего народа атуров”.

Рискну утверждать, что **тема** пришла к автору из книги, читанной им чуть раньше. В очерке “Хорошее море” (одесские впечатления лета тридцать седьмого – с эпиграфом из “Контрабандистов” Багрицкого) упоминается “Сборник памяти Багрицкого”, то есть вышедший в 1936 году под редакцией В. Нарбута альманах “Эдуард Багрицкий”.

И вот цитата из мемуарного очерка Марка Тарловского “Багрицкий и животный мир”: “...С горящими глазами он мне читал выисканное им в немецком издании Брэма стихотворение про попугая, оставшегося единственным хранителем нескольких слов языка, на котором говорило одно дикое племя, вымершее вплоть до последнего своего представителя”.

То ли Багрицкий обмолвился, то ли мемуарист напутал, но “в немецком издании Брэма” такого стихотворения нет. Кржижановский **перевел** его в свою прозу не с “оригинала”, но с беглого – вскользь – пересказа. Взял свое – где нашел...

Впрочем, к тому времени туманно задуманная в двадцатых новелла о попугае уже была написана. И озаглавлена: “Путешествие клетки”. Три упомянутых **мотива** в нее вошли.

В РГАЛИ она обозначена как “незавершенное” произведение. Потому что машинопись обрывается на девятнадцатой странице – буквально на полуслове: черточкой переноса.

Рукописей у Кржижановского не было. Новеллы, повести, статьи, пьесы он не **писал**, а **диктовал**, сочинял “с голоса” (Мандельштам), что характерно для поэтов (а он и начинал как поэт), но среди прозаиков, драматургов, историков литературы и театра мне лично другой такой случай неизвестен. “Рукописями” Кржижановского, о которых упоминают мемуаристы, были машинописи с авторской правкой – или без оной, коли не требовалась. Так что “Путешествие клетки”, вне сомнений, было завершено.

В киевском Архив-Музее текст новеллы тоже есть. Такой же, как в РГАЛИ. Единственное отличие – на другой машинке напечатан, иной междустрочный интервал, иное количество знаков в строке, вместо девятнадцати – двадцать четыре страницы, но оборван так же, только посреди страницы – и строки, из чего можно вывести, что перепечатывался текст уже после смерти автора.

О прочем остается гадать.

Во-первых, когда и каким образом отделилась и затерялась концовка – и сколько их было, пропавших страниц? Логично предположить, что обнаружилось сие, когда автора уже не было в живых, потому и не восстановлено утраченное; однако “логично” в подобных случаях вовсе не значит “верно”.

Во-вторых, почему новелла эта не упоминается автором ни в одной из составленных им в разное время “автобиблиографий”?

В-третьих, по какой такой причине Анна Бовшек нигде не сказала о “Путешествии” ни слова, но... отдала его в перепечатку и увезла с собой в Одессу?

Всё это тем более странно, что и в таком виде, какой есть, это “Путешествие клетки” в пространстве времени и во времени пространства, на мой вкус, запросто выдерживает сравнение с лучшими вещами Кржижановского. А внезапно, случайно оборванная строка приводит на память знаменитые **обрыв-концовки** Лоренса Стерна.

Но с Кржижановским – обычное дело: ищешь ответ, а находишь только новые и новые вопросы...

Так нашлась в том же Архив-Музее новелла “Глазунья в пенсне”, о которой прежде вообще не было известно – ни-че-го.

Хотя ее **мотив** – из самых протяженных и многообразно варьирующихся и в прозе Кржижановского, то бишь **внаписанном**, и в Записных Тетрадах – в **ненаписанном**. То и дело проступает в **оппозициях**: близорукость (а он был близорук) – и очки (или пенсне, он смолodu был вынужден пользоваться “стеклистыми придатками” и, судя по дошедшим до нас фотографиям, носил именно пенсне), зрение внешнее – и внутреннее, очертания сна – и яви, мирозерцание – и мировоззрение...

Для которого из неродившихся персонажей был подсмотрен такой, например, усталый жест: “Он снял очки и положил их стеклами в страницу. Готические буквы за выгибами овалов умалились и скорчились. Стальные

усики очков встали двумя вопросительными знаками (по перпендикуляру к строчкам)”?

Герой какой задуманной и неосуществленной новеллы бросил бы в философическом споре реплику: “Это мировоззрение не моих диоптрий”?

Для чего могла понадобиться ему занесенная во Вторую Тетрадь французская идиома: *a la vue courte* – стричь зрение? (Понадобилась она, кстати говоря, много позже, в 1951 году, совсем другому писателю, Алексею Ремизову, чтобы озаглавить **написанный во Франции** мемуарный том: “Подстриженными глазами”.)

Впрочем, **тема** эта ведет и вадит Кржижановского не только в прозе, но и в размышлениях о литературе и театре. И весьма похоже на то, что именно двойной эффект “стекло” (уменьшение/увеличение, четкость/размытость – видимого/мыслимого) приводит его к выработке теории **экспериментального реализма** (см., например, “Страны, которых нет” или “Фрагменты о Шекспире”); не случайно, поясняя сей термин, Кржижановский ссылается на Свифта, который лишь однажды **уменьшает** или **увеличивает** рост своего героя; на мой взгляд, похоже и на то, что отсюда – из рано начавшегося **обдумывания** этого своего отличия от большинства окружающих – берет начало и **кинематографичность** писательской манеры Кржижановского (сложившейся задолго до его работы в кино, в частности, над сценарием “Нового Гулливера” А. Птушко) – с резкими – и неизменно сюжетно-обоснованными – чередованиями общего и крупного планов, дальнорукости (литоты) и близорукости (гиперболы); отсюда же – замыслы неосуществленных теоретических работ: “Литературный пейзаж” (общий план) и “История гиперболы” (крупный)...

“Глазунья в пенснэ”, в отличие от “Путешествия клетки”, **оборвана** вполне осознанно, даже демонстративно, потому что главное осмыслено и сказано, продолжать легко, потому что неинтересно...

Новелла не датирована, но в тексте ее – **подсказка**, позволяющая заполнить эту пустующую строку: упоминание “о бомбах, рушащихся на Лондон”. 1940 год (к слову, “Путешествие клетки” начинается в канун Первой мировой войны). Свидетельства о том, что в последние десять лет жизни (т. е. с 1941-го по 1950-й годы) Кржижановский, кроме цикла очерков “Москва в первый год войны”, ничего своего/художественного не писал, только – время от времени – статьи, переводы да несколько оперных либретто, сомнений не вызывают. А это значит, что перед нами – последняя новелла этого автора. Тем любопытней, что приведенная здесь, в концовке, цитата из “Гамлета” некогда, в двадцать четвертом, стала эпиграфом и дала заглавие повести “Странствующее “Странно””. Первой крупной вещи Кржижановского. Круг замкнулся. Дальше – тишина...

*Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР*

# Путешествие клетки

1

Это произошло в одну из сентябрьских дат 1913 года на станции Вержболово. Череду пассажиров, доставленных к границе австрийским шнельцугом, продвигалась, вслед за спинами носильщиков, через таможенный досмотр. Баулы, кожаные саки, отшелкнутые крышки чемоданов, короткое “сигары-табак-вино”, “к доплате”, “следующий”, тюки вслед тюкам, – и вдруг кто-то запел “Марсельезу”. Озабоченное цоканье шпор о асфальт, и все головы испуганно на звук: кто? Все рты закрыты, если не считать двух-трех приоткрытых удивлением. И все же “Марсельеза”, запятанная непонятным образом под грудой сдвинутых тюков и чемоданов, гортанная, резкая и на раскатистых “р”, длилась, как ни в чем не бывало. Растащили тюки: на опроставшемся асфальте – круглая, из частых прутьев, клетка, в клетке попугай. Из клюва его с веселыми прискрипами, взбираясь с такта на такт, песнь марсельцев.

Несколько улыбок, тотчас же спрятавшихся в воротники пальто. Толстый бритый господин, блеснув золотом пломб, вытолкнул вместе с сигарным дымом: “А у птицы неплохой прононс”. Глаза жандармов искали собственника клетки. Но такой предпочел не отыскаться. К перрону, ударяя в тимпаны буферов, подошел русский поезд. Асфальт опустел. Птицу опечатали и отправили в камеру для хранения не подлежащих пропуску грузов.

Приемщик внимательно оглядел клетку и птицу. Круглое донце клетки, темное от времени, хранило на нижней своей стороне следы наклеек и клейм: очевидно, попугай долго странствовал, меняя отели и страны, прежде чем клетка его попала в клетку. Вид попугая, нахохлившегося под его прутьями, подтверждал: да, и очень долго. Изогнутый клюв его брезгливо прятался в встопорщенный, сизеющей жесткой остью воротник, а под мутными пленками глаз, казалось, не счесть годов, отраженных в годах.

2

Один из таможенных чиновников заинтересовался птицей. Но птица не заинтересовалась чиновником. Он совал палец в толстом обручальном кольце меж прутьев, пробуя обратить на себя внимание попугая. Тот, чуть приоткрыв пленки, равнодушно косил глазом и отодвигался от пальца вдоль по жердочке.

Так как пленника полагалось кормить, то чиновник предложил перенести клетку из склада к себе на квартиру. Вероятно, им руководила смутная ассоциация: молодая жена, привезенная им недавно из Петербурга в приграничную глушь, была музыкантшей, и поскольку попугай обнаружил знакомство с творчеством Руже де Лиля, то... клетка водворилась в углу крохотной гостиной в трех шагах от пианино с гипсовым Бетховеном поверх черного лака и поставкой для нот.

Чиновник был с утра до вечера занят на службе. Жена, остававшаяся целыми днями одна, переигрывала свои старые нотные тетради, писала письма петербургским друзьям и слушала свистки поездов, проходящих мимо. К вечеру приходил муж и рассказывал служебные новости. Иногда он приводил сослуживцев. Сослуживцы сначала просили сыграть, потом, вежливо отулыбавшись, садились к ломберному столику, затем: “Сам Бог послал”, – Бог неизменно посылал водку и холодные закуски. После ужина раскрасневшиеся гости окружали клетку с попугаем и, стуча ладонями о прутья, с ласковой настойчивостью повторяли: “Дерни “Марсельезу”, попка. Теперь можно – свои люди. Ну-ка, попочка, ну – аллен занфан... ну пожалуйста”.

Но птица, презрительно отвернув клюв, отвечала им молчанием или коротким злым сыком.

После этого гости, повздыхав и разменявшись парой служебных сплетен, желали спокойной ночи и расходились. Но, очевидно, у попугая было другое отношение к ночи. Однажды супругов разбудил высокий и острый свист. Муж, не стряхнув еще спресонок, вскочил, ударив пятками в пол, но жена удержала его за руку: “Тише!” В соседней комнате тонкою звуковой нитью тянулись начальные такты адажио бетховенской “Апассионаты”.

Женщина, ступая босыми ногами, стараясь не вспугнуть адажио, подошла к двери, приоткрыла ее. За порогом сквозь темноту смутный контур клетки: птица пела негромко, будто для себя, точно соблюдая метр, грусть и синкопы мелодии.

На следующее утро, оставшись, как обычно, наедине с клеткой, женщина раскрыла ее и попробовала приласкать птицу. Попугай натопорщил крылья и укусил ее за палец.

### 3

Ветром войны снесло границы, потом намело с востока и с запада груды серого и синего, потом закружило в сине-серых водоворотках боев. Пограничным чиновникам, очутившимся без границ, пришлось спешно эвакуироваться. Но с востока все пути загромодило красными теплушками, а с запада небо рушилось канонадами. Было не до клеток и не до пианино – лишь бы себя унести. Попугай приоткрыл круглые бисерные глаза, когда рядом зазвучала немецкая речь и стал тянуть свои гнусавые тире полевой телефон. Подошвы торопились в дверь и из двери. Никому не было дела до белого Бетховена, птицы и клавиатуры под спущенной крышкой. И попугай, уже начавший погружаться в привычную полудремоту, всего лишь раз или два был разбужен звонким топотом “Deutschland, Deutschland uber alles”, бивнями бывшего клавиатуру. Стрекот пулеметов сначала удалялся к востоку, потом, казалось, стрекочущая их стая быстро летит вспять. Тире телефонов стали короче и чаще. Потом как оборвало. Тишь.

### 4

На плечах у штабс-капитана Копилки было тридцать семь лет жизни, восемь медных звездочек, жена и трое детей. Мирный путь к двум пустым погонным просветам был беспросветно длинен и тягуч. Барабан, отстукивающий дни, месяцы, годы, вычеты, карточные долги, “то да се” – как определял сам штабс-капитан Копилка. А тут, все-таки, знаете, либо покойник, либо полковник, да, полковник без всяческих аллегорий. Копилку увязали в сложные поперечины походных ремней и экспортировали на фронт. Жена, розовощекая и русоволосая женщина, стала получать аккуратно пронумерованные письма с войны, а в одно из тронутых заморозком октябрьских утр в дверях, вслед за звонком, появился весело склабящийся солдат: “От его высококородия”. Из левого обшлага вынырнул очередной конверт с очередным номером, а под левой пястью качалась круглая клетка с сизо-пестрой птицей внутри: “Подарок деткам-с”. Птице была устроена торжественная встреча. Дети – двое мальчишек, сами похожие на долгоногих голенастых птиц, и тихая, с глазами, широко распахнутыми на мир, девочка – сначала потащили клетку на плиту с целью отогреть птицу, затем, на окрик матери, поставили гостя посередине детской и учинили веселый, в шесть пят, танец вокруг попугая. Тот, чуть приоткрыв глаз, произнес: “Halt”. И чуть погодя: “Feuer!” Эффект был чрезвычайен, но дети, побежавшие за истолкованием к матери, не могли добиться от попугая повтора слов. Было решено, что пребывание у линии боев временно оглушило птицу, но что после она заговорит.

Попугай, прибывший оттуда, был предметом неустанных забот: его кормили сахаром и муравьиными яйцами. С ним говорили, как с другом, называли его самыми нежными именами. Но птица невежливо отворачивалась и молчала.

Замолчали отчего-то и письма. Один из номеров досадным образом застрял где-то в тысячеверстии. Затем вместо письма – телеграмма: в две строки. Сначала дрожащие пальцы распутывали перекрест сгибов бумаги, потом глаза раз – еще раз – и еще, потом крик на длинном и страшном “и”: “Убили!” И тотчас же в комнатах появились чужие люди. Дети испуганной стайкой забились в угол, и женщина, стуча зубами в расплеск стакана, повторяла тихо и монотонно, будто затверживая трудное иностранное слово: “Убили – убили”...

Неделя – еще неделя – месяц. Трава забвения любит, чтобы ее поливали слезами: это на пользу ее росту. Посторонние, посострадав, сострадали уже где-то в других местах (во время войн спрос на сострадание превышает предложение), но один из посторонних стал – так оно всегда как-то выходит – из постороннего делаться близким. Главное его преимущество перед Копилкой было не в том, что усы его были рыжее и жестче, а в том, что он не был трупом.

Так или иначе, отчего не пойти иногда вдвоем в кино, а в двух шагах сбегать вниз ступеньки кавказского погребка; в погребке глухие клетки кабинетов. На стене в столовой переменяли отрывной календарь; модистка, призванная на совещание, нашла, что к русым волосам лучше всего белый цвет. Приготовления к свадьбе были не долгими, не хлопотными: ничего не достать – дурацкая война – дороговизна. О попугае совсем забыли. Немного – и о детях. Впрочем, к торжественному дню под подбородками у них заголубели шелковые банты. И еще одно впрочем: торжественность была доведена до минимума, как приличествует. Старенький отец Иоаким, приглашенный “откушать” вместе с несколькими гостями, притронулся губами к рюмке, подмигнул синим веком и хотел уже сказать “горько”, когда в соседней комнате вдруг истошно и пронзительно закричали. “Убили! – убили!” – надсадно заливался высокий гортанный голос. Гости, не понимая, приподымались из-за стола, вопросительно оглядывая хозяев. Невеста была под цвет своему платью. Прежде всего – убрать птицу. Клетку унесли в угловую комнату, затем в кухню, за три пары запертых дверей. Но попугай продолжал упрямо и безутешно: “Убили!”

“Убили” замотали в простыню и прикрыли подушкой, но оно, хоть и глухо, с бульканьем и клекотом, нудной и тонкой нотой, сквозь стены и двери вклеивалось в праздник. И опять, как в то, вместе с старым календарем выброшенное утро, стакан стучал о сведенные спазмой зубы, жених и гости растерянно суетились вокруг припадка, дети сидели носами в банты, а отец Иоаким, глядя левою ладонью их головы, вскидывал широкий и черный, как крыло, правый рукав, крестя три крохотных сморщенных болю лба.

Новый хозяин не любил попугая. Детям было запрещено играть с пестроперой птицей. Клетку перенесли из детской на кухню, где она и висела рядом с засиженным мухами сине-желто-зелено-красным изображением адских мук, ожидающих грешных и нераскаянных. Колорит лубка и оперение птицы как-то странно подходили друг к другу. От плиты шло тепло и сквозисто-сизый пар. Попугай, цепко обхватив кольчатymi лапками поперечину, топырил крылья и чистил их кривым клювом. Может быть, горсть калорий, брошенных зимней печкой, напоминала ему о тех давних теплых странах, где море и небо стараются пересинеть друг друга, где дремлют ленивые пальмы, макая многопальчатые зеленые ладони листов в влажные леты муссонов, – и казалось, птица замышляет возврат.

На кухне иногда собирались кухарки и горничные из соседних квартир. Тут обсуждались романы черной лестницы, пересуживались новости десятка гостиных и спален.

Иногда вспоминали и о безмолвном слушателе их каляканий, попугае. Пододвигаясь табуретом к табурету, кухарка Анфимия рассказывала, как “новый барин”, подобравшись раз к клетке, когда никого не было, тыкал в попку вилкой. “Ну а тот как заверещит, я из колидора раз – и тут. Ейный вилку и вырони. Сама видела: ох, изведет он птицу”.

И вскоре, по нашепту ли кухарки, по желанию ли “нового барина”, птица вместе с клеткой была презентована отцу Иоакиму, большому любителю всякого рода раритетов.

## 5

Низкий потолок. Беленые стены. Тесно прижавшиеся друг к другу иконы в углу. Клетка повисла над подоконником, заселенным иглистыми лапами и вспучинами кактусов. Хозяин знакомил их с посетителями так: “Вот – семейка уродов-с”.

Впрочем, случалось это чрезвычайно редко, так как старый священник жил одиноко, и почти никто не беспокоил его в тихом и убогом обиталище. Требы и служба постепенно отошли к молодому заместителю, отец же Иоаким редко заходил дальше края половицы своей комнатки. Половица под нажимом пят скрипела. Отец Иоаким был терпеливее. Когда его спрашивали: “Что это вы, батюшка, горбатиться стали?” “Смерти кланяюсь”, – отвечал он, оглаживая изжелта-белую бороду. На планке полки, вровень с клеткой, аккуратно, корешок к корешку, два-три десятка книг: “Русский паломник” – “Хождение в Св. Землю Афанасия Никитина” – “Лифостротон сиречь камень веры” – “Перелетные птицы” Кайгородова – “Записки об ужении рыбы” – “Плачевное книгам целование” Стефана Яворского.

Жизнь была тихой и однообразной. Днем сквозь раскрытое окно всплески меди на колокольне, визгливые голоса старух у паперти, редкий стук колеса о булыжины. По вечерам, когда ревматизм не давал отцу Иоакиму уснуть, он прогуливал его вдоль скрипучей половицы и иногда заговаривал с попугаем. Он рассказывал о семи Вселенских соборах, о троествольном древе Адамовом, о пустынниках Фиваиды, процветших язвах Францисковых и чудесах Печерского Патерика; о птице, в Страстной Пяток свисающей головой вниз с ветки, пластая крылья, об огне, незримо нисходящем в ночь Воскресения на лампы Иерусалимского храма, и опять о соборах, древе троествольном, еще и еще.

Попугай безразлично круглил глаза и чистил клюв о стержни клетки.

Секунды каплями в минуты, минуты струйками в часы, часы ручьем в дни, притоки дней в русло годов. Сначала попугая кормили конопляным семенем из конусовидных пакетиков, потом в чашечке у него размокало пшено, потом под клюв ему, и то редко, подставлялась углистая хлебная корка. Попугай, отклевав, брезгливо отворачивался и всутуливался в сон. Колокола, ютившиеся в соседней колокольной клетке, отзванивавшие привычные часы, уже не будили птицу. Но однажды где-то далеко, за городом, ударили в какой-то непривычный глухой, но гулкий колокол. Попугай приоткрыл пленки и наклонил голову. Казалось, он что-то припоминал. Отец Иоаким крестился и прикрывал ставни. Улицы сначала шумели укатывающими колесами. Потом все смолкло: пришли *они*. И после короткой череды дней – опять гулкий колокол издалека, и “они” стали говорить: идут *они*. Слово, прячущееся под всеми стенами, пробирающееся за все двери, навещало иногда вместе с десятком-другим ртов, приходивших отшептаться в чем-то отцу Иоакиму в его обнищалу ю келью. Даже попугай, вглядываясь в ставень, перегородивший ему свет, однажды произнес, ворошась над пустой чашечкой: “Они”.

Однажды беленую комнатку посетили двое приезжих крестьян из дальнего села Никоновки. Открестясь и отохав, они просили уважить и принять приход; священник, объясняли просители, покинул их, заместителя не шлют, времена путаные и трудные, а церковь стоит беззвонно, и служить некому.

Отец Иоаким обещал. И вскоре зеленый вагон с битыми стеклами вез котомку, священника и круглую клетку. Впрочем, не столько вез, сколько стоял: стоял на узловых и неуловых, больших и малых, станциях и полустанках, платформах и постах, а то так посреди поля, неизвестно зачем. В незащитные окна било ветром, и ревматизм беспокойно ворочался в суставах отца Иоакима. Но нельзя было ни расправить ног, ни прилечь под теплое. Отовсюду тела, вдавленные в тела, в ноздрях едкая махорка, в ушах брань, чавканье и храп. “Когда же Никоновка?” – спрашивал отец Иоаким. Одни отвечали “скоро”, другие – “далече”, иные ж отворачивались, вовсе не отвечая. То скрипели натруженные оси, то ударяли сталью в сталь тормоза. При первой же пересадке людским стиском два стержня клетки вдавились внутрь, сделав ее чуть теснее. Попугай, которого отец Иоаким защищал от холода рогожей, наверху на клетку, иногда цокал клювом в прутья, очевидно, напоминая: есть.

Это было время заблудившихся поездов, алогических маршрутов, когда колеса, вращаясь, как земля, проделывали эпициклы на линии ее орбиты... Задача о точке отправления и точке назначения стала неразрешимее неразрешимой математической проблемы о двух точках. Север превращался в юг, и солнце падало в восток. И вскоре отец Иоаким, запутавшись среди пересадок, бессонниц, запасных путей, локомотивов, впрягающихся то в голову, то в хвост состава, не понимал, где он, куда его везут, где Никоновка и где город. К концу четвертого четырехчасия он очутился меж двух поездов: ушедшего и непришедшего. Вдоль перрона в гудах: люди и мешки. Старик положил котомку, сел поверх, запахнулся поплотнее в рясу и, прижавшись виском к клетке, сквозь дрему – в сон. В проводах пел зимний ветер, потом падал сухой колючий снег. Но спящий запахивался все глубже и глубже в сон. Загрохотало вдоль перрона, топали ноги и лязгали друг о друга чайники. Опыты, произведенные психологом Мори, дают возможность допустить, что удары жестью в жесть, проникающие в спящий мозг, легко могут превратиться в пасхальный благовест или... Но короткий клевок сквозь рогожу заставил отца Иоакима вскочить и раскрыть глаза. У платформы стоял воинский поезд. Из красных коробов галдело и орало песни серое сукно. Отец Иоаким с трудом приподнял свой пожиток, сознание не растушевало, вслед за преодоленным сном надвигался, пеленя глаза, другой, непреодолимый и беспробудный. И он пошел, точно слепо, вдоль раздвинутых шарнирами дыр, повторяя у каждой: “Никоновка-Никоновка”. Резкий хлип гармошки из первой дыры перегородил дорогу даже голосу; из второй загоготали и напутствовали: “Лезь, ряса, в свою клетку и лети”; из третьей плеснули холодным чаем: “Кыш!” И тут вдруг из-под рогожи, из-под левой руки просителя вдруг дробной гортанной россыпью заклокотала матерщина; случайный брызг воды разбудил вдруг сложнейшие зигзаги словохульства; взбираясь из хрипов в свисты, птица частила и частила металлическими переливами, забираясь в распропере так и так. Отец Иоаким в испуге выронил клетку. Но навстречу из распахнутой двери прыгало, восхищенно осклабя рты, содержимое теплушки:

- Ай да птаха!
- Наддай, попка, х-хы.
- Чеши без перечесу.
- Ну и поп: под рысой тихо, а под рогожей лихо.
- Братье, тащи попа за полы, да и с попкой вместе. Закатим в закатаевы страны.

И через пять минут теплушки покатали дальше. В одной из них под кожухом лежал отец Иоаким, а клетка, пододвинутая к печке, показывала блеску красных углей кривоклювую пеструю птицу, брюзгливо копошащуюся на своем тонком шестке.

Сначала в теплушке было шумно и весело. Потом сорок пар пяток повернулись плашмя к огню, и был слышен лишь стук стыков и трение ветра о стенки. У печки, глазами в озоленные угли, раскачивался в такт бегу колес и секунд дневальный. Ночь вместе с ветром проносилась мимо. Сквозь приподнятую у потолка заслонку можно было видеть постепенно синеющий воздух. Внезапно вагон – буферами на буфера – и стал. Толчок и тишина заставили дневального приподняться и, откатив дверь, высунуться ушами и глазами наружу. По путям двигался фонарь. Подождав, когда огонь будет ближе, дневальный крикнул: “Какая станция?” “Никоновка”, – отвечали из подсветия, и фонарь продолжал плыть дальше.

Дневальный, отшагнув внутрь, наклонился над кожухом:

– Вставай, батя, Никоновка.

Под кожухом было тихо.

Дневальный запустил пятерню под овчину и нащупал костлявое и холодное плечо.

– Никоновка. Твоя остановка. Чуешь?

Несколько пяток, зябко зашевелившись, подобрались под сукно: “Кто там захолаживает? Дверь, закрой дверь”. И чей-то сиплый голос с верхних нар:

– Ну, что там?

– Товарищ взводный, – распрямился дневальный, – позвольте доложить, что во время моего дежурства помер поп.

Через четверть часа труп был сдан коменданту станции Никоновка. Фонарь махнул сквозь серый воздух. Тихий лязг пробежал от буферов к буферам. Клетка длила путь.

6

Перегон за перегонем приближали поезд к боевой зоне. Из снежного поля, то там, то здесь торчали обугленные остовы мертвых деревень. Паровоз шел без огней и не давая свистков. Песни внутри красных коробов оборвались. Люди бодрствовали и спали, не снимая снаряжения.

Затем вдруг, в предзакатный час, когда небо горело, как подожженное, откуда-то из-за поворота пути, с трехсот шагов частый щекот пулеметов в пересыпь с ружейным огнем. И тотчас же по колесам пулевой цок.

Паровоз, злобно взыв, лягнул состав, пробуя назад, но сзади перегораживающий залп, а в телефонную трубку, переброшенную через тендер, короткое: стоп. Шарниры теплушек разомкнули доски, люди быстро высыпались в цепь. Надо было торопиться навстречу смерти. Клетка, стоявшая среди сутолоки сорока пар ног, попав под толчки, пододвинулась к краю, еще толчок – легла на круглый бок; случайно задевший по прутьям приклад – и, перевернувшись с прутьев на прутья, клетка, вскрикнув высоким птичьим голосом, ударилась о снежный наст и покатила по пологой насыпи вниз. Ей предстояла пересадка.

7

Железнодорожный сторож, тыча палкой в шпалы, обходил свой участок. Шагая вдоль насыпи, он вдруг услышал откуда-то снизу гортанное: “Взвод, пли!”

Сторож, точно подсеченный рефлексом, припал к земле и замер. Но поле молчало. Притом через секунду он сообразил, что залпу неоткуда и быть – со стороны пути была снежная безлюдная плоскость. Сторож, приподнявшись на коленях, заглянул за края насыпи. В двух-трех саженях от него, зацепившись на полускате за безлистный куст, лежал какой-то странный предмет, напомнивший ему сначала вершу, потом клетку.

Недоумевающая, сторож встал с колен и через минуту разглядывал диковинный зелено-сизо-пестрый комок, который, топорща под обмерзлыми прутьями свои жесткие крылья, продолжал зудящим и присвистным звуком: “Взводд, пли, пли, пли, взз...”.

Сторож с опасливой улыбкой приподнял клетку, потом прикрыл ее полой полушубка от ветра, и вскоре лед на прутьях, размерзаясь в теплой сторожке, закапал дробными слезливыми каплями на глиняный пол.

Прошло еще несколько месяцев. Пули, долгое время заселявшие воздух, опростали его под дыхание. Жизнь, а следовательно, и поезда, вновь вошла в расписания. Мимо нумерованной сторожки размеренно вращалось время, отсвистывая predeterminedенные часы и минуты локомотивными свистками. Рядом с сине-зелено-красной птицей торчали из кожаных гнезд зеленый и красный флаги. Попугай научился имитировать свист пара в железную щель, и однажды, когда, вследствие заносов, почтовый запоздал, птица укоризненно просвистала высокую и резкую ноту, как бы напоминая о нарушенных минутах. Сторож только головой покрутил: “Хоть в начальники дистанции – с клеткой заместо кабинета”.

Все было ясно и ясноло от дня к дню, кроме мутной жидкости в неиссыхающей бутылки, бывшей третьим обитателем сторожки. Муть, переливаясь из стекла в человека, кричала из него причетами и руганью, кружила стены вокруг глаз, бросала голову в ладони и на доски стола.

– Пойми ты, птицын сын... – начиналась каждовечерняя, словами по сивухе плывущая исповедь – и дальше тянулась про то, что учили не азом, а вязом и что чуть вырос повыше порога, ушел из дому в науку к дорогам, бродяжил, мир вразгляд брал: заместо крестов перекрестки, а заместо...

Попугай, пряча голову в встопорщенный сизый воротник, слушал с видом консультанта, который, сидя перед клиентом, путано и многоречиво излагающим свой казус, всматривается в следующих, чьи рассказы, такие же смутные и бессильные, терпеливо ждут очереди.

Бутылка, присосавшаяся к скудным доходам сторожа, вобрав в себя жалование, требовала сверх. Сторож сначала просамогонил запасные сапоги, потом казенную “дежурку” на медных пуговицах, а там пришло время и для клетки: выменянная на сотню глотков жгучей бурды, она переселилась в одну из изб неказистой деревеньки, поднявшей в небо десятка три сиренево-серых дымов.

## 8

Клетка стояла в углу полавочья; снизу, с убитого земляного пола выпячивала деревянное брюхо бадья; из щелей ее тянуло прокисью; из-за дебелой беленой печи цвиркал сверчок; это был необразованный деревенский сверчок, он не знал, что на свете бывают Диккенсы, и пел лишь про то, что, чем жарче угли, тем шире щель, но, чем шире щель, тем холоднее она.

Изба, как и все избы-соседки, жила узколобой, медлительной и трудной, как лесная дорога, жизнью. Под низкую притолоку вместе с грязью, налипающей на подошвы, захаживали слова, тугие и вязкие, как сырая глина. Иногда на столе, рядом с качаемым дыханием пиковым тузом, заострившимся огоньком квадратилась газета, и монотонный надсадный голос тянул из нее, выгибая словам суставы, медлительные строки. Вокруг, наклонив уши и смятые морщинами лбы к слогам, молчали слушатели. И клетка тоже не подавала голоса.

Прошло несколько недель, и она, подвязанная веревкой к мешкам с картофелью и клохчущему букету из куриц, сцепленных лапками, как стеблями, в один пук, качалась в телеге вдоль дорожной колеи, ведущей в город, на ярмарку.

И снова сквозь прутья клетки протискивались шумы и пестроты многолюдия: бродящее меж телег “почем”, яркие бабьи платки, зазывы и нахвалы продавцов, шуршание сена в замундштученных лошадиных ртах, истошное “держи вора!”, медный пересчет с дряхлой колоколенки.

Вскоре ярмарка, скрипя осями, разъехалась, оставив на Маркса и Энгельса, бывшей Соборной площади, лишь следы ободьев, битые черепки, хлопья сена и экскременты цвета танго.

И еще: за дверью чайной, распахнутой на опустелую площадь, рядом с вздернутыми носами чайников, выставившимися с полок, изогнутый серпом вниз клюв попугая. Дребезг посуды на прилавке – лузг слов и семечек – пар, сдуваемый раструбами ртов, – поликаляканье – жужжание жирных мух.

Но молчание птицы было мало развлекательно. И крестьянин, сбывший клетку, завернув в следующий ярмарочный день в чайную, не увидел уже ни клетки, ни попугая.

Зато на одной из приволжских пристаней скучающие пассажиры, ждущие пароходного гудка, смыкали теперь круг у деревянного ящика с судьбами, отдающимся за пятак. Привлекали их не столько судьбы, сколько линялая птица на крышке ящика: она сидела, устало сутуля крылья, с видом не верующего в Бога продавца индульгенций; и когда хозяин ящика толкал птицу, торопя с вручением билетика, попугай – под общий смех – вскрикивал: “Кипяточку погорячее, кипят...”

## 9

Некогда Глеб Борисович Борисоглебский занимал квартиру в одиннадцать покоев; затем он жил в шести просторных комнатах; потом квартировал в двух комнатах с кухней; затем уютился в одной комнатухе с одним примусом; теперь он досуществовывал свое существование в отгороженной щелевками полукомнатенке, куда даже солнце, за отсутствием окна, не знало, как войти. Начиная с полукомнаты, все у Глеба Борисовича Борисоглебского как-то полу: сам он на вопрос о возрасте, указав на путаницу седых и черных нитей над лбом, лукаво отвечает: “Если поставить на волосование-с, одни – за, другие – против, – извольте подсчитать, и по большинству волос, ха”... Глеб Борисович не худ и не полон, не близорук и не дальнорук, не умен, но и не неумен; по вечерам, запершись в своей полукомнате, он полупьет: рюмка с нацеженной не дополна водкой и аккуратные ломтики хлеба, бродящие от стекла ко рту и обратно под монотонное – сквозь обсос – бормотание: “Борись и глебь, Глеб Брчч...”

Глеб Борисович Борисоглебский – внимательный посетитель аукционов, гумовских распродаж, весенних и книжных рынков и рынков вообще. С лицом человека, слушающего симфонию, следит он за ныряющим в толпу вензелеванным хрусталем, за скольжением по рублям вверх застекленных ню, чулок и флаконов с заграничными пломбами и за старинным, с потертыми поручнями креслом, которое, взгромоздившись на аукционный помост, некупленное и сконфуженное, пятится, подгибая гнутые ноги. Но и здесь Глеб Борисович приценивается, но не торгуется, а если торгуется, то не покупает. Иной раз, остановившись у книжного ларя, он долго листает книгу, постепенно погружаясь в чашу строк, но, дочитав до цены, аккуратно кладет ее на место и отходит прочь.

Так началось и в этот день. Под желтое праздничное солнце из подворотен на рыночную площадь густо поползла бывшая вещь: козетки в лысеющем плюше на рахитических бамбуковых выгибах; печальные иконы под темным загаром древней олифы; прячущиеся под переплет и за стертые застешки молитвы; молью траченные ткани; гравюры с полями, тронутыми желтизной; желчью времени пропитанные, сонно слипающиеся страницы ветхих книг; и, наконец, в узком переулке, вытягивающемся из

площади, как река из озера, поверх обулыженных волн – всякого рода дробная разбродь: финифтеная рюмка с отбитой ступней, шестирукий канделябр, потерявший пару, резная в золоте рама, охватывающая четырехугольную пустоту, настенный бисером шитый тувелек, подчулочный гриб, изоспанный иглами, распяленный рот граммофона, страдающего горловой чахоткой, альбом с расхлябанными картонными прорезями, которые, прежде чем опустеть, дали протиснуться сквозь себя несчетным уплощениям трех поколений.

Глеб Борисович – как обычно – неспешным шагом шел меж разостланных брезентов и рогожи, оглядывая пестрый невольничий рынок вещей. Он тронул стеклянные подвески люстры, казалось, рухнувшей с невидимого потолка вниз, к ногам обозревателей. И тотчас же из граней подвеса брызнул семицветьем спектр; наклонясь над гравюрой “Смерть Эпаминонда”, внимательно оглядел копье, торчащее из серой раны, и даже спросил “сколько?”, постоял у свесивших ржавый маятник часов, подумал “бестиканность”, скривил улыбкой ус и вошел в перекрытый тенями домов переулок.

Сквозь прислонившуюся к тумбе золоченую раму нелепым натюрмортом чернели остановившиеся калоши и конец трости какого-то прохожего. И тут – сквозь шелестящий кашель граммофонной трубы – клянчущим звуком прогнусило:

– Купи, дяденька, попоньку.

Звук был откуда-то из-под локтя. Глеб Борисович отвел руку и увидел – на высоте кармана своего пальто – задранный кверху каракатичий рот с надвинутым на верхнюю губу козырищем.

– Купдяпоп... – тянул мальчуган, держа всей десятерней кривоклювую и пестроперую птицу.

Глеб Борисович тронул попугаю желто-зеленый хохол:

– Сколько?

– Треху.

– Ого! – и, отдернув карман от беспризорника, Глеб Борисович двинулся дальше. Он уже успел, свернув за угол, оставить за спиной рынок, как вдруг услышал дробный топот догоняющих шагов. Он обернулся – мальчишка с попугаем бежал вслед, вскрикивая из-под козыря:

– Рупь! Рупь!

Это было, конечно, недорого. Но к чему? И, чтоб верней отвязаться, он бросил назад:

– Полтина.

Но, прежде чем Глеб Борисович успел воспользоваться преимуществом длинных шагов, его нагнало:

– На.

Затем два пятиалтынных и двугривенный прыгнули с ладони, а на подставленном пальце закачались два крыла и растопыренный хвост. Глеб Борисович с некоторым недоумением заглядывал птице под пленки. Зачем? Кто-то из проходивших мимо громко рассмеялся. Мальчишка-продавец – точно его ветром свеяло. Глеб Борисович, рассердившись, тряхнул пальцем и сказал: “Кш!” Но цепкий затиск не выпускал пальца, и птица, качнувшись, даже не раскрыла глаза. “Ишь”, – подумал Глеб Борисович Борисоглебский и понес на вытянутой руке нечаянную покупку домой.

Достаточно было снять шесть номеров “Печать и Революция” с полки, что над столом, вдвинуть на их место консервный ящик с песком до краев – и попугай получил свой угол; после этого оставалось – одним кольцом за чешуйчатую лапку, другим за гвоздь, и с водворением экзотического вселенца как будто б кончено.

Глеб Борисович выскользнул руками из пиджака, расшнуровал штiblеты и лег отдохнуть, вщуриваясь сонными глазами в пестрое пятно на фоне книжных переплетов.

Казалось, оперение птицы придавало двадцатисвечью, ввинченному в потолок, яркость и игру. “Что ж, пусть”, – подумал он...

За стеной, прижатой к затылку, шуршала швейная машинка. За стеной, пододвинувшейся к макушке, чей-то упрямый палец блуждал по битым клавишам где-то в окрестностях “Интернационала”. Белая навесь потолка вздрагивала под топочущими каблучками. За закрытыми веками поплыли пестрые пятна: “А вдруг он со словами?” – протянулось сквозь засыпающий мозг. Жужжание машинки за затылком смолкло: должно быть, оборвалась нить. Мозг, расцепив нейроны, спал.

Звук возник из ничто и из никогда, извиваясь длинным “и-и-и” и из “и” в “ли” и вниз в “или”, и из-за “или” – “били” – “были” – “убили” – “и”...

Мозг, взигленный звуком, стиснул нейроны и, дернув за нейрошнуры, распахнул веки: и в комнате, и вокруг нее все было сонно и немо; только глазные пленки попугая были подняты и клюв его слегка шевелился, изгибаясь крутой запятой из невидимого текста.

Глеб Борисович нащупал пятками штиблеты, поскреб в макушке, встал, пошарил по столу, звякнул стеклом, и через минуту насосавшийся спиртом хлебный мякиш пополз, роняя капли, от рюмки ко рту: “Борись и глебь, Глеб Брсч, брось глыбу, Глеб, глебь и брось, брысь”... Мякиш за мякишем, и глаза затягивало попугаевой пленкой, а сквозь мозг тянулось нудное длинное: “и-и-и”...

Наутро Глеб Борисович Борисоглебский, как обычно, встал, разбуженный обычными же шумами. На кухне гудели примусы; в уборной то и дело рушилась с коротким всхлипом вода.

За стеной справа перерыкающиеся голоса: “Не моя очередь идти в очередь” (“Опять эти Никудыкины, терка о терку, черт бы их драл”, – прощально зажмурился Глеб Борисович); снизу, со двора – приглушенный сигнал автомобиля – это для молчаливой стены слева, за которой выдвигенец с билетом.

Борисоглебский собрал на ладонь хлебные крошки от вчерашнего и положил попугаю под клюв; тот сидел рядом с пятым томом Ключевского, дергая круглым глазом и беспокойно вороша песок длиннопальцами, в желтой чешуе, ногами.

Висячий замок прикусил дужку, и тов. Борисоглебский, вихляя портфелем из-под локтя, отсчитал подошвами сорок три ступеньки. Машина у подъезда, швырнув в него грязью и бензином перегаром, укатила человека из-за левой стены. Глеб Борисович хотел было рукавом по разбрызгу грязи, но тов. Борисоглебскому было все равно, и они, то есть он поплелся, или нет, поплелись вместе с днем, плетущимся от рассвета к закату, привычной дорогой.

“До четырех часов и тридцати минут я сочувствую советской власти, – любит остерить Глеб Борисович в минуты конфиденции, – отчего же, не в четыре тридцать одну минуту, хе...”, – и конфиденцы подхватывают “хе” отзывчивым “ха-ха” или дальновидным “хм”. Было четверть шестого, когда Глеб Борисович, проделав в обратном порядке сорокатрехступенную гамму, переступил порог квартиры. Еще раньше чем открыть наружную дверь, он услышал какой-то высокий, на одной ноте натяженный звук. Недоумевая, он вшагнул в темную прихожую – звук, не рвущийся, с гортанным призвуком, длился. Из прихожей в коридор, что к его двери, и вдруг закоченел: дверь в его комнату была распахнута, и семь или восемь спин, тесно сплотившихся, перегородивали дорогу. “Обыск – арест – конец, – скользнуло мышью сквозь мозг. – Бежать или...”, – вероятно, никто б и не заметил бегства, так как все лица и внимание были повернуты внутрь взломанной комнаты, навстречу гортанному звуку, тянувшемуся из-за ее порога, но именно эта ровно звучащая нить, постепенно членящаяся в растуманивающемся сознании на слова и слоги, перехватила меж нервом и мускулом отдергивающий реф-

лекс. Голос попугая – Борисоглебский ясно различал лишь птичий присвист и цоканье в паутиной вытягивающемся звуке, монотонно артикулирующем ...<...>

## Глазунья в пенснэ

Близорукость отвратительна. Когда я протираю носовым платком две стеклянных ямы в моем пенснэ, я всегда испытываю чувство полустыда. Любопытно, что в народе близоруким называют мужчину, дающего волю рукам, поближе к себе притягивающим бабу. Противно.

Разговор о пенснэ начался вчера утром. Мне подали сковородку с двуглазой яичницей. Два круглых желтых глаза на круглом и белом, как циферблат, лице. Я в это время перелистывал газетный лист, читая о бомбах, рушащихся на Лондон. Внезапно буквы стали большими и дымными, быстро теряя ясность контура. Я понял, что неловким движением зацепил за край пенснэ, и оно – как плохой ездок – выронило седловину носа и упало куда-то вниз. На полу его не было. На столе тоже. Только когда я ткнул вилкой в яичницу, что-то стеклисто пискнуло под одним из трех зубов вилки, и я увидел: яичницу в пенснэ. Два стеклянных эллипса прижались к огромным, выпученным, лишенным зрачков желтым глазам и смотрели на меня снизу вверх. Это было начало. Перехожу к концу.

День был суматошный. Я вернулся домой во втором часу. Лунный свет блеснул на металлической крышке чернильницы и мерцал на остриях перьев, выставленных из круглого жерла деревянной коробочки, точно щетина крохотных штыков.

Я быстро разделся, не зажигая света. Бросил на стол портфель. Затем, сняв пенснэ, положил его в футляр, придвинул к портфелю и укрылся одеялом.

Сон, как мне казалось, не торопился придти ко мне на помощь. Я вспоминал события дня. На подошвах ног у меня еще жило и не засыпало ощущение ступенек лестниц, по которым я ходил вверх, вниз и снова вверх; потом мне вспомнился образ Шекспира о том, что “бессонница – это обанкротившийся сон”; затем я подумал, что можно написать рассказ о мертвце, страдающем бессонницей, которую он с отвращением называет жизнью, потом...

И вот тут я не помню. Переступил я через порог сна или остался в яви? Но только я увидел, что черная крышка футляра пенснэ беззвучно отщелкнулась и пенснэ приподнялось, привстав на своих коротких металлических ножках. Оно вышагнуло из футляра, волоча два огромных стеклянных глаза, и пододвинулось к самому краю стола. В его двояко-вогнутых глазах, как всегда, мерцали тусклые лунные блики. Оно смотрело на меня чрезвычайно внимательно, изредка переступая с одной куцей металлической ножки на другую.

Я не выдержал долго дрящего молчания. И спросил:

– Чего тебе надо?.. Я не понимаю...

– О, да, – отвечал тихий, но четкий стеклистый голос, – в непонимании ты дальнорок. Но я не к тебе, а к твоим снам. Перед тем как заснуть, вы снимаете нас с своих глаз, прячете и их, и нас под футляры век и вот этих черных крышек. Ты не понимаешь своих снов, позволь мне войти в них, и я помогу тебе увидеть их смысл. Что тебе снится сейчас, перед моим приходом?

– Не помню ясно. Какая-то нелепица. Будто жизнь – это поезд. А я в нем – простой пассажир. И вот мы проезжаем к последней станции. Надо укладывать свои мысли. А мысли разбросаны, их не собрать, и никак их не прикрыть, не притиснуть черепной крышкой. А поезд уже подходит – беззвучно и медленно – к конечной станции. Так вот мне снилось. И ты мне снишься, я знаю.

– Странные существа – вы, люди. Вы боитесь своих снов, но вместе с тем единственное, что вы любите, это ваши сновидения. И все ваши философские системы – это сны о мире. Все персонажи ваших новелл и повестей только приснились вашим гениям.

И вы в них верите – как в живых людей. Сами вы умираете, рассеиваетесь, как сонные грезы, но поэтические видения живут среди вас, не умирая. В конце концов, что такое я? Так, простое стеклянное двуглазье с глупым именем: пенснэ. Зачем ты меня купил, зачем ты потратил на меня несколько рублей? Чего тебе от меня нужно?

– Ответ мой прост. Мне нужно, чтобы ты помогло моим глазам видеть мир, чтобы ты добавило какие-то десятые доли к моему зрению.

– Так говорят с офтальмологами и оптиками. Но убежден ли ты, что я делюсь всем, что вижу, всем, что вбираю вот в эти стеклянные чечевицы, с твоими глазами? А может быть, я отдаю им лишь то, что считаю нужным отдать, а остальное удерживаю для себя? О, если б мне можно было рассказать о том, что ты не увидел: через меня! О тех образах, которые скользнули по моим стеклам, отразились в них, как в прозрачных зеркалах, но так и не вошли в твою психику. О том, что ты видел, но не увидел.

– Странно.

– “Это странно как странника ты в сердце приюти”. А можешь и прогнать его. Пусть идет странствовать по свету бездомное, лишенное приюта “странно”.

– Нет. Милости прошу. Пусть войдет.

– Я продолжаю. Ну, скажем, продолжаю сниться. Телосложение у меня – надо признать – нескладное. Эти запавшие, огромные стеклянные глаза на куцых рахитических ножках. И жить я не могу само по себе. Приходится ютиться при чужих глазах. Присасываться к чужому видению. О проклятая бездомная жизнь! Меня утешает только то, что очень многие и из вас, людей, живут, прилепляясь к чужому видению, к мировоззрению, глядящему на мир сквозь них...

*Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА*

Опубликовано в журнале: [«Октябрь» 2007, №9](#)